

1 января. Встреча Нового года в Доме Литераторов. Не думал, что пойду. Не занял предварительно столика. Пошел экспромтом, потому что не спалось. О-о-о! Тоска — и старость — и сиротство. Я бы запретил 40-летним встречать Новый год. Мы заняли один столик с Фединым, Замятиным, Ходасевичем — и их дамами, а кругом были какие-то лысые — очень чужие. Ко мне подошла М. В. Ватсон и сказала, что она примирилась со мной. После этого она сказала, что Гумилев был «зверски расстрелян». Какая старуха! Какая ненависть. Она месяца 3 [назад] сказала мне:

— Ну что, не помогли вам ваши товарищи спасти Гумилева?

— Какие товарищи? — спросил я.

— Большевики.

— Сволочь! — заорал я на 70-летнюю старуху — и все слышавшие поддержали меня и нашли, что на ее оскорбление я мог ответить только так. И, конечно, мне было больно, что я обругал сволочью старую старуху, писательницу. И вот теперь — она первая подходит ко мне и говорит: «Ну, ну, не сердитесь...»

Говорились речи. Каждая речь начиналась:

— Уже четыре года...

А потом более или менее ясно говорилось, что нам нужна свобода печати. Потом вышел Федин и прочитал о том, что критики напрасно хмурятся, что у русской литературы есть не только прошлое, но и будущее. Это задело меня, потому что я все время думал

почему-то о Блоке, Гумилеве и др. Я вышел и (кажется, слишком неврастенически) сказал о том, что да, у литературы есть будущее, ибо русский народ неиссякаемо даровит, «и уже растет зеленая трава, но это трава на могилах». И мы молча почтили вставанием умерших. Потом явился Марадудин и спел куплеты — о каждом из нас, причем назвал меня Врид Некрасова (временно исполняющий должность Некрасова), а его жена представила даму, стоящую в очереди кооператива Дома Литераторов, — внучку Пушкина по прямой линии от г-жи NN. Я смеялся — но была тоска. Явился запоздавший Анненков. Стали показываться пьяные лица, и тут только я заметил, что большинство присутствующих — евреи. Евреи пьяны бывают по-особенному. Ходасевич еще днем указал мне на то, что почти все шкловитяне — евреи, что «формально-научный метод» — еврейский по существу и связан с канцелярскими печатями, департаментами. Потом пришли из Дома Искусств два шкловитянина: Тынянов и Эйхенбаум. Эйхенбаум печатает обо мне страшно ругательную статью — но все же он мне мил почему-то. Он доказывал мне, что я нервничаю, что моя книжка о Некрасове неправильна, но из его слов я увидел, что многое основано на недоразумении. Напр., фразу «Довольно с нас и сия великия славы, что мы начинаем»^{*1} он толкует так, будто я желаю считать себя основоположником «формально-научного метода», а между тем эта фраза относится исключительно к Некрасову.

Тынянова книжка о Достоевском мне нравится*, и сам он — всезнающий, молодой, мне нравится. Уже женат, бедный.

Потом Моргенштерн читал по нашему почерку — изумительно: Анненкову, которого видит первый раз, сказал: «У вас по внешности слабая воля, а на деле сильная. Вы сейчас — в самом расцвете и делаете нечто

¹ Здесь и далее звездочкой отмечены слова и предложения, комментарии к которым помещены в конце книги. — *Ред.*

такое, от чего ожидаете великих результатов. Вы очень, очень большой человек».

Меня он определял долго, и все верно. Смесь мистицизма с реализмом и пр.

О Замятине сказал: это подражатель. Ничего своего. Натура нетворческая.

Изумительно было видеть, что Замятин обиделся. Не показал: жесты его волосатых рук были спокойны, он курил медленно, — но обиделся. И жена его обиделась, смеялась, но обиделась. (Анненков потом сказал мне: «Заметили, как она обиделась».)

Потом меня подозвал к себе проф. Тарле — и стал вести ту утонченную, умную, немного комплиментарную беседу, которая становится у нас так редка. Он любит мои писания больше, чем люблю их я. Он говорил мне: «У вас есть две классические статьи — классические. Их мог бы написать Тэн. Это — о Вербицкой и о Нате Пинкертоне. Я читаю их и перечитываю. И помню наизусть...» И стал цитировать. Рассказывал свой разговор со скульптором Иннокентием Жуковым. «Я говорю ему: знаете в Лувре — Schiavi¹ Микель Анджело. Я только теперь, будучи в Париже, всмотрелся в них как следует. Какая мощь и проч. А он мне: — Да, французы по части техники — молодцы». Французы! Микель Анджело — француз! И каково это: по части техники!

Анненков попросил Тарле дать текст к его портретам коммунаров*. Тот согласился.

А в зале происходили чудеса. Моргенштерн — давал сеансы спиритизма. Ему внушили выхватить из четырех концов залы по человеку. Он вошел, стал посередине, а зала — большая, а народу много, и вдруг как волк, быстро, быстро, кинулся вправо, влево! хватъ — хватъ — в том числе и меня, без раздумья выстроил в ряд. И т. д., и т. д.

¹ Рабы (*ит.*).

Утром мы пошли домой. Говорят, в Доме Искусств было еще тоскливее.

Коля рассказывает, что Анна Николаевна Гумилева (вдова), несмотря на свое вдовье положение, танцевала вчера всю — накрашенная до невероятия. Это — идиотка — в полном смысле этого слова. Она пришла к Наппельбауму, фотографу: там висит ее портрет и портрет Анны Ахматовой. Она возмутилась: «Почему Ахматову повесили выше меня? Ведь Ахматова была разведенная жена Гумилева, а я настоящая». У нее с Ахматовой отношения тяжкие: обе бабы доводят друг дружку до истерик.

Боба говорит, что он помнит войну — 14-й год.

Приехал из Ростова театр — ставит «Гондлу»*.

Хочется мне пойти и поздравить Сологуба. Был у Белицкого — по поводу своей книжки о Блоке. О! как я ошибался в этом человеке. Это паучок из самых тихеньких. Вежливо и деликатно — он высосет из вас все, что у вас есть, — а вы даже и не заметите.

У него был Шкловский, с обритой головой, желтый — после вчерашнего пьянства. Говорит веско, отрывисто. С Белицким — угловат и угрюм, — это на того действует.

2 января. Пишу для Анненкова предисловие к его книге*. Он принес мне проект предисловия, но мне не понравилось, и я решил написать сам. Интересно, понравится ли оно ему.

Писал о Мише Лонгинове*. Хочу переделать ту дрянь, которая была написана мною прежде.

13 февраля. Щеголев живет на Петербургской Строне. Это человек необыкновенно толстый, благодушный, хитроватый, приятный. Обаятелен умом — и широчайшей русской повадкой. Недавно говорит мне: «Продайте нам («Былому») две книжки». Я говорю: «С удовольствием». Изготовил две брошюры о Нек-

расове, говорю: «Дайте пять миллионов!» Щеголев: «С удовольствием». Потом ходила моя жена, ходил я, не дает ни копейки. Дал как-то один миллион — и больше ничего. — «У самого нет». И правда: сын его сидит без папирос, — дальше некуда. А у меня ни одного полена. Я с санками ходил во «Всемирную», выпросил поленьев двенадцать, но вез по лютому морозу, без перчаток, поленья рассыпаются на каждом шагу, руки отморозил, а толку никакого. Я опять к Щеголеву: «Ради бога, отдайте хоть рукописи». — «Да вам деньги на что?» — «А мне на дрова». — «На дрова?» — «Да!» — «Так что же вы раньше не сказали? Завтра же будут вам дрова. Пять возов!» Я в восторге. Жду день, жду два. Наконец моя жена идет сама к дровянику (адрес дровяника дал Щеголев) — и тот говорит: «С удовольствием послал бы, но пожалуйте денежки, а то г-н Щеголев и так должен мне слишком много». Мы купили у него воз, — а я достал денег, отнес Щеголеву миллион и взял назад свои рукописи. С тех пор мы стали приятелями. Оказывается, он знаменит своим *несдержанием слова*. Это тоже в нем очаровательная черта — как это ни странно. Она к нему идет. Еще никогда он не сдержал своих обещаний. Вчера я с Замятиным были у него в гостях. Чтобы оживить вечер, я предложил рассказать, как кто воровал, случалось ли кому в жизни воровать. Щеголев медленно, со вкусом рассказал:

— Есть в Москве Мария Семеновна... Или была, теперь она пострадала от Чеки — а может, и снова возникла... У нее можно было пообедать и выпить. Очень хорошая женщина. И так у нее хорошо подавалось: графинчик спирту и вода *отдельно*. Хочешь, мешай в любую пропорцию. Ну вот, я у нее засиделся, разговорился, а потом ушел — очень веселый. А были там еще какие-то художники — пили. (Пауза.) Художники казались ей подозрительны. Почему-то. На следующий день прихожу к ней, она ко мне: «Как вы думаете, не могли ли художники унести у меня одну вещь?» —

«Какую?» — «Стакан — драгоценный, старинный». — «Неужели пропал?» — «Пропал!» — «Нет, говорю, художники едва ли могли». — «Тогда кто же его взял?» Она в отчаянии. Прихожу я домой и NN рассказываю о воровстве, NN идет к шкафу и достает стаканчик! «Вы, говорит, вчера сами его принесли, показывали, расхваливали, — неужели это чужой?»

Даже при рассказе все огромное лицо Щеголева порозовело. Кроме нас с Замятиным были у Щеголева Анна Ахматова и приехавший из Москвы Чулков. Ахматова, по ее словам, «воровала только дрова у соседей», а Чулков и здесь оказался бездарен.

Он очень постарел, скучен, как паутина, и умеет говорить лишь о Тютчеве, которым теперь «занимается». Душил нас весь вечер рассказами о том, как он отыскал такую-то рукопись, потом такую-то, и сначала был «*один процент неуверенности*», а потом и этот «*один процент*» исчез, когда к нему пришел покойный Эрнест Эдуардович Кноппе и сказал: был у меня в Париже знакомый и т. д...

Ахматова прочитала три стихотворения: одно черносотенное, для меня неприятное (почему-то) — потом два очень личных (о своем Левушке, о Бежецке, где она только что гостила) и другое о Клевете*, по поводу тех толков, которые ходят о ее связи с Артуром Лурье.

Замечателен сын Щеголева, студент 18 лет, напускает на себя солидность — говорит басовито, пишет в «Былое» рецензии — по-детски мил — очарователен, как и отец.

Очень смеялась Ахматова, рассказывая, какую рецензию написал о ней в Берлине какой-то Дроздов: «Когда читаешь ее стихи, кажется, что приникаешь к благоуханным женским коленям, целуешь душистое женское платье»*. Впрочем, рассказывал Замятин, а она только смеялась.

Щеголев-сын рассказал, что И. Гессен ругает в «Руле» Тана, Адрианова, Муйжеля за то, что те согласи-

лись печататься в советской прессе, «а впрочем, как же было не согласиться, если тех, кто отказывался, расстреливали».

— И как они могут в этой лжи жить? — ужасается Ахматова.

14 февраля. Был вчера у Ахматовой. На лестнице темно. Подошел к двери, стукнул — дверь сразу открыли: открыла Ахматова — она сидит на кухне и беседует с «бабушкой», кухаркой О. А. Судейкиной.

— Садитесь! Это единственная теплая комната.

Сегодня только я заметил, какая у нее впалая, «безгрудая» грудь. Когда она в шали, этого не видно. Я стал говорить, что стихи «Клевета» холодны и слишком классичны.

— То же самое говорит и Володя (Шилейко). Он говорит: если бы Пушкин пожил еще лет десять, он написал бы такие стихи. Не правда ли, зло?..

Дала мне сардинок, хлеба. Много мы говорили об Анне Николаевне, вдове Гумилева. «Как она не понимает, что все отношения к ней построены на сочувствии к ее горю? Если же горя нет, то нет и сочувствия». И потом по-женски: «Ну зачем Коля взял себе такую жену? Его мать говорит, что он сказал ей при последнем свидании:

— Если Аня не изменится, я с нею разведусь.

Воображаю, как она раздражала его своими пустяками! Коля вообще был несчастный. Как его мучило то, что я пишу стихи лучше его. Однажды мы с ним ссорились, как все ссорятся, и я сказала ему — найдя в его пиджаке записку от другой женщины, что „а все же я пишу стихи лучше тебя!“ . Боже, как он изменился, ужаснулся! Зачем я это сказала! Бедный, бедный! Он так — во что бы то ни стало — хотел быть хорошим поэтом.

Предлагали мне Наппельбаумы стать синдиком „Звучащей Раковины“*. Я отказалась».

Я сказал ей: у вас теперь трудная должность: вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин — все в одном лице — даже страшно.

И это верно: слава ее в полном расцвете: вчера Вольфила устраивала «Вечер» ее поэзии, а редакторы разных журналов то и дело звонят к ней — с утра до вечера. — Дайте хоть что-нибудь.

— Хорошо Сологубу! — говорит она. — У него все ненапечатанные стихи по алфавиту, в порядке, по номерам. И как много он их пишет: каждый день по несколько.

15 февраля. Вчера весь день держал корректуру Уитмэна. «Всемирная Литература» солила эту книгу 2 года — и вот наконец выпускают. Коробят меня кое-где фельетонности, но в общем ничего. Вчера наконец-то нам выдали семейный паек. Слухи о том, что Волынский хочет издавать казенную газету, подтверждаются. Собираю матерьялы для журнала.

17 февраля. Пятница. Мурке скоро 2 года. Она упражняется в говорении весь день, делает всевозможные словесные опыты, поет. Однажды по инерции она сказала:

— Мама-ама!

Я сказал ей: *мама* вовсе не *ама*, внушив ей таким образом, что ама сказуемое, имеющее характер порицания:

— Мама — хорошая, мама вовсе не ама.

Она мгновенно уловила этот оттенок и теперь, когда сердится на меня, говорит:

— Папа-апа!

Когда сердится на Зину:

— Диди-иди!

Занят переделками: футуристов и «Ахматовой».

Кашу Мура называет бля-бля.

19 февр. 1922. Анненков: как неаккуратен! С утра пришел ко мне (дня три назад), сидел до 3 часов и спокойно говорит: «Я в час должен быть у Дункан!» (Дункан он называет Дунькой-коммунисткой.) Когда мы с ним ставили «Дюймовочку»*, он опаздывал на репетиции на 4 часа (дети ждали в лихорадке нервической), а декорации кончал писать уже тогда, когда в театре стала собираться публика! Никогда у него нет спичек, и он всегда будет вспоминаться как убегающий от меня на улице, чтобы прикурить: маленький, изящный, шикарно одетый (в ботиночках, с перстнями, в котиковой шапочке), подкатывается шариком к прохожим: «Позвольте закурить». Один ответил ему:

— Не позволю!

— Почему?

— Я уже десяти человекам подряд давал закуривать, одиннадцатому не дам!

Потом он ужасно восприимчив к съестному — возле лавок гастрономических останавливается с волнением художника, созерцающего Леонардо или Анджело. Гурманство у него поэтическое, и то, что он ел, для него является событием на весь день: вернувшись с пира, он подробно рассказывает: вообразите себе. Так же жаден он к зрительным, обонятельным и всяким другим впечатлениям. Это делает из него забавного мужа: уйдя из дому, он обещает жене вернуться к обеду и приходит на третьи сутки, причем великолепно рассказывает, *что, где и когда* он ел. Горького портрет* начал и не кончил¹. С Немировичем-Данченко условился, что придет писать его портрет, да так и не собрался, хотя назначил и день и час. Любят его все очень: зовут Юрочкой. Поразительно, как при такой патологической неаккуратности и вообще «шалости» — он успевает написать столько картин, портретов.

¹ Он сделал только половину лица, левую щеку, а правую оставил «так», ибо не пришел на сеанс. — К. Ч.

Вчера был с Замятиным у «Алконоста»*: он говорит, что в первой редакции мои воспоминания о Блоке разрешены. Неужели разрешат и во второй? Сяду сейчас за Игоря Северянина.

21 февраля. Как отчетливо снился мне Репин: два бюстика, вылепленные им, моя речь к его гостям. Ермаков на диванчике (и я во сне даже подумал: почему же Репин называл Ермакова сукиным сыном, а вот беседует с ним на диванчике!) — и главное, такая нежная любовь, моя любовь к Репину, какая бывает только во сне.

Третьего дня был я у одного из нынешних капиталистов, у него фабрика духов, лаборатория.

— Как называется ваша фирма? — спросил я.

— Никак, но очень хотелось бы дать ей подходящее имя.

— Какое?

— Дрянь... Торговый дом «Дрянь».

— Почему?

— Мы изготавливаем такие товары, за которые надо бы не деньги платить, а бить. Вот, напр., наши духи...

И он побежал в другую комнату и принес две бутылочки — я понюхал: ужас, не зловоние, но и не аромат, а просто запах вроде жженой пробки.

— И берут?

— Нарасхват. Пудами. Нынешние дамы любят надушиться.

— Вот такими духами?

— Ну да. Платят огромные деньги. Мы продаем в магазины по 5 миллионов ведро — а те разливают в бутылочки с надписью «Париж».

А хороший человек. Совестьливый. Он говорит, что вся торговля в Питере только такая.

Нужно держать корректуру Уитмэна — переделывать Северянина. Сегодня долго не хотел гореть мой светлячок: в керосине слишком много воды.

22 февраля. У Анненкова хрипловатый голос, вывезенный им из Парижа. Он очень застенчив — при посторонних. Войдя в комнату, где висят картины, — он, сам того не замечая, подходит вплотную и обнюхивает их (он близорук) и только тогда успокоится, когда осмотрит решительно все.

25 февраля. Вчера было рождение Мурочки — день для меня светлый, но загрязненный гостями. Отвратительно. Я ненавижу безделье в столь организованной форме. Беленсоны подарили Мурке колясочку с двигающейся и визжащей фигуркой, Абрам Ефимович — торт, Слонимская — матрешку и куклу, наши дети — слона, Слонимская — другого слона, Вейтбрехт — другую колясочку, Моргенштерн — чашечку, и т. д., и т. д., и т. д. Бедная девочка была ошарашена, нервы ее взвинтили до черт знает чего, и я боялся только одного: как бы не пришел еще один гость и не принес ей еще одного слона.

Анненков действительно великолепный медиум — он даже угадал задуманное слово: *конференция*. Всякая возможность мошенничества была исключена. Очень было интересно, когда на Анненкова влияло третье лицо — через посредство Моргенштерна. Но в общем все это смерть и тоска.

Игорь Северянин тормозится.

28 февраля. В субботу (а теперь понедельник) я читал у Серапионовых братьев лекцию об О'Ненгу и так устал, что — впал в обморочное состояние. Все воскресение лежал, не вставая... Был у Кони. Он очень ругает Кузмина «Занавешенные картинки» — за порнографию. Студенты Политехникума сообщили мне, что у них организовался кружок Уота Уитмэна. — Мурка говорит слово: Бамба (мою секретаршу зовут Памба). — Колька жалуется на то, что у него левое легкое

болит. — Лида больна, лежит, жар. — Боба колет дрова. — Я опять похудел, очень постарел. Чувствуется весна, снег тает магически. Читаю Henry James'a «International Episode»¹. У Кони я был с Наппельбаумом, фотографом, который хочет снять Анатолия Федоровича. Тот, как и все старики, испугался: «Зачем?»... Но сам он, несмотря на 78-летний возраст, так молодожав, *красив*, бодр — просто прелесть. Особенно когда он сидит за столом; у себя, в своей чистенькой, идиллической комнатке (которая когда-то так возмущала своей безвкусицей Д. Вл. Философова). Но жизнь уже исчерпала его до конца. Настоящего для Кони уже нет. Когда говоришь с ним о настоящем, он ждет случая, как бы при первой возможности рассказать что-нибудь о былом. Мысль движется только по старым рельсам, новых уже не прокладывает. Я знаю все, что он скажет по любому поводу, — это даже приятно.

29 февраля. Вчера в Доме Литераторов было собрание литературной группы, получающей паек: серые, истрепанные люди, кандидаты в покойники. Кого ни встретишь, думаешь: Ай, как поседел! Ой, как постарел! Да неужели это такой-то? Ленский-Абрамович сед, как я. Боцяновский совсем патриарх. Ясинский из желто-седого стал бел, как сахар. Мариэтта Шагинян, глухая, не слышала ни единого слова, поэтому я сел рядом с нею — и записывал ей все, что говорили. Редько — тоже седой — председательствовал. Докладчиком был молью траченный Ирецкий. Оказывается, что КУБУ (Комиссия по улучшению быта ученых) на волоске. Правительство не имеет средств ее содержать. Надо писателям сплотиться — и поддержать КУБУ, благодаря которой они все живы. Если бы не КУБУ, ведь мы были бы еще седее, тусклее, мертвее. Постановили избрать троих уполномоченных: Волковыского, Анну

¹ «Случай из международной жизни» (англ.).

Ганзен и одного пролетария — и взывать с каждого по 50 коп. (золотом) в месяц. Все это хорошо, но вот что непонятно: почему все так обозлены на КУБУ? Где, в какой стране, на какой Луне, на каком Марсе — существует такой аппарат для 12 000 людей: подошел, нажал кнопку, получил целую гору продуктов — ничего не заплатил и ушел!! А между тем прислушайтесь в очереди: все брюзжат, скулят, ругают Горького, Родэ, всех, всех — неизвестно за что, почему. Просто так! «Черт знает что! Везде масло как масло, а здесь как стеарин! Опять треску! У меня еще прежняя не съедена. Сами небось бифштексы жрут, а нам — треска». Такой гул стоит в очередях Дома Ученых с утра до вечера.

Какое? 9-е или 10-е марта 1922. Ночь. Уже ровно неделя, как я лежу больной. У меня в желудке какие-то загадочные боли. Врач был однажды — да и то по детским болезням — Конухес. Не вынимая папиросы изо рта, он нажал в одном месте живот, спросил — больно? — я сказал: нет! Он ушел и прописал опий. На другой день мне стало гораздо хуже. Я не ем почти ничего, думаю взять голодом, но, видно, этого лечения недостаточно. Хлеб кислый, тухлый. У меня болит голова, и я чувствую себя какой-то тряпочкой.

Лежа не могу не читать. Прочитал Henry James'a «Washington Square»¹. Теперь читаю его же «Roderick Hudson»². Прочитал (почти все, потом бросил) «Т. Тембаром» by Burnette³ и т. д., и т. д. И от этого у меня по ночам (а я почти совсем не сплю) — английский бред: *overworked brain*⁴ с огромной быстротой — вышвыривает множество английских фраз — и никак не может остановиться. Сейчас мне так нехорошо, болит правый глаз — мигрень, — что я встал, открыл форточку,

¹ «Площадь Вашингтона» (англ.).

² «Родерик Хадсон» (англ.).

³ «Т. Тембаром» Барнетта (англ.).

⁴ Переутомленный мозг (англ.).

подышал мокрым воздухом и засветил свою лампадку — сел писать эти строки — лишь бы писать. Мне кажется, что я не сидел за столом целую вечность. Третьего дня попробовал в постели исправлять свою статью о футуристах, весь день волновался, черкал, придумывал — и оттого стало еще хуже. Был у меня в гостях Замятин, принес множество новостей, покурил — и ушел, такой же гладкий, уверенный, вымытый, крепенький — тамбовский англичанин, — потом был Ефимов и больше никого. У меня кружится голова, надо ложиться — а не хочется.

Сейчас вспомнил: был я как-то с Гржебиным у Кони. Гржебин обратился к Кони с такой речью: «Мы решили издать серию книг о „замечательных людях“. И, конечно, раньше всего подумали о вас». Кони скромно и приятно улыбнулся. Гржебин продолжал: «Нужно напоминать русским людям о его учителях и вождях». Кони слушал все благосклоннее. Он был уверен, что Гржебин хочет издать его биографию — вернее, его «Житие»... — «Поэтому, — продолжал Гржебин, — мы решили заказать вам книжку о Пирогове...» Кони ничего не сказал, но я видел, что он обижен.

Он и вправду хороший человек, Анатолий Федорович, — но уже лет сорок живет не для себя, а для такого будущего «Жития» — которое будет елейно и скучно; сам он в натуре гораздо лучше этой будущей книжки, под диктовку которой он действует.

12 марта. Только что, в 12 час. ночи, кончил Henry James'a «Roderick Hudson» и просто потрясен этим мудрым, тончайшим, неотразимым искусством. У других авторов, у Достоевского, напр., — герой как на сцене, а здесь ты с ними в комнате — и как будто живешь с ними десятки лет. Его Mary Garland и Крестину я знаю, как знают жену. Он нетороплив, мелочен, всегда в стороне, всегда в микроскоп, всегда строит фразу слишком щегольски и хладнокровно, а в общем волну-

ет и чарует, и нельзя оторваться. В русской литературе ничего такого нет. И какое гениальное знание душ, какая смелость трактовки. Какой твердой безошибочной рукой изображен гений — скульптор Roderick, не банальный гений дамских романов, а подлинный — капризный, эгоист, не видящий чужой психологии, относящийся к себе, к своему я, как к святыне, действительно стоящий *по ту сторону*. И Кристина Лайт, красавица, с таким же отношением к своему я, кокетка, дрянь, шваль, но святая. И безупречный джентльмен, верный долгу, очень благородный (совсем не манекен), который оказывается все же в дураках, — как это тонко и ненавязчиво показано автором, что Rowland все же банкрот — что каждая его *помощь* причинила только зло, что в жизни нужно безумствовать, лететь вниз головой и творить, а не лезть с моральными рецептами. Fancy such a theme in an American novel! It was written (as I found in a dictionary) in 1875¹. Уже предчувствовался Ницше, Уайльд — и вообще *неблагополучие* в романах и мыслях. I wonder whether this extraordinary novel had a good reception on its native soil². В нем чувствуется много французского — флорберовского. Порою весь этот дивный анализ James'a пропадает зря, to no purpose³. Прочтешь — спрашиваешь: ну, так что? Такое было мое чувство, когда я кончил «International Episode». Но «Washington Square» и «Hudson» — другое дело. В «Washington Square» тоже показана моральная победа сильного, стихийного, цельного духа over the concocted trifle⁴.

Однако уже три четверти первого. Сейчас погасят электричество. А нервы у меня взлетели вверх — едва

¹ Вообразите — такая тема в американском романе! Он написан (как я узнал из словаря) в 1875 (англ.).

² Интересно, как этот удивительный роман был принят на родине автора (англ.).

³ Бесцельно (англ.).

⁴ Над искусственными пустяками (англ.).